

ИЗ ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ВНЕНАПРАВЛЕННОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ В РОССИИ XX ВЕКА

© 2014 г. О. В. Никандрова, В. Е. Хализев

Статья посвящена развитию отечественной науки о литературе в XX столетии. В центре внимания авторов, с одной стороны, важнейшие литературоведческие направления XX века: формализм, марксистское литературоведение и структурализм, а с другой – вненаправленное литературоведение. Последнее рассматривается как сложное единство на основе близости мировоззренческих и гносеологических предпосылок.

This article is devoted to the evolution of Russian literary theory throughout 20th century. Two main aspects of this dynamics the article covers are, on the one hand, the most important schools, namely Russian Formalism, Marxist Literary Criticism and Structuralism; and on the other hand, so-called “out-of-school” literary theory. The latter is considered to be a complicated unity based on common epistemological and ideological research assumptions.

Ключевые слова: формализм, марксистское литературоведение, структурализм, вненаправленное литературоведение, методология.

Key words: Russian Formalism, Structuralism, Marxist literary criticism, “out-of-school” literary theory, methodology.

Обсуждая судьбы нашей науки в истекшем столетии, мы сосредоточимся прежде всего на крупномасштабных, эпохально значимых школах (формализм, структурализм, марксистское литературоведение) и рассмотрим моменты общности между ними. И далее обратимся к наследию тех ученых, которые не принадлежали к названным научным школам, – к литературоведению *вненаправленческому*, до сих пор как единое и многоплановое целое не рассматривавшемуся.

1.

“Литературоведческие общности” в XIX веке осознавались и получали наименование по преимуществу лишь задним числом. Так обстояло дело с мифологической школой, с биографическим методом, с культурно-исторической школой, с “психологической школой” (словосочетание, введенное в обиход учениками А.А. Потебни). Каждое из этих сообществ разрабатывало определенный круг научных проблем, имело свою “сверхтему”. При этом так называемые школы не отделяли себя одна от других сколько-нибудь резко: не было взаимного отчуждения, тем более вражды. Отсутствовали претензии на полноту познания художественной словесности, будь то фольклор или литература. Русские ученые XIX века, о которых идет речь, как правило, не проявляли склонности к методологической рефлексии. Своего рода исключением явились статьи А.Н. Веселовского

о научном методе в истории литературы (1870) и о принципах разработки исторической поэтики (1893). А главное – у вышеназванных ученых не было притязаний на радикальное обновление науки. Они не отвергали предшествовавший и наличествующий опыт.

Положение дела изменилось в 1910–1920-е годы, когда на авансцену отечественной науки выдвинулись формализм и марксистское литературоведение, противостоявшие как друг другу, так и дореволюционной науке о литературе. На рубеже 1920–1930-х годов формальная школа и во многом унаследовавшая ее традиции Государственная академия художественных наук (ГАХН) подверглись жестоким административным гонениям и перестали существовать. Подобная участь постигла и академическое литературоведение марксистской ориентации (школа В.Ф. Переверзева). В 1930-е годы в русле марксизма действовал журнал “Литературный критик”, где тон задавало так называемое “течение”, лидерами которого являлись М.А. Лифшиц и Д. Лукач, но в 1940-ом г. журнал был закрыт. После этого “пальма первенства” перешла в руки людей, часто от науки в истинном смысле весьма далеких, которые решительно и агрессивно внедряли в литературоведение марксизм в его ленинско-сталинской “редакции”, ратуя за коммунистическую партийность литературы и за социалистический

реализм. Собственно же научные сообщества литературоведов стали вновь появляться лишь в послеоттепельные времена. Лидером в их ряду явился отечественный структурализм.

Если структурализм во многом наследовал традиции формализма, то марксистское литературоведение было от них обоих отчуждено и даже им враждебно. И, естественно, ученые близкого нам времени, обращаясь к истории отечественного литературоведения, настойчиво акцентируют принципиальные различия методологий названных школ, их несовместимость друг с другом. Ныне же, когда бури давно отшумели, становятся яснее черты сходства, даже родства между группами ученых той поры. На этих моментах общности мы и остановимся.

Во-первых, в литературоведении истекшего столетия заметно потеснился прежний описательный эмпиризм, едва ли не преобладавший при рассмотрении художественной словесности давних веков. Преодолевая самодовлеющее накопление сведений о фактах, наука стала более проблемной. Во-вторых, заметно вырос интерес ученых к творчеству отдельных писателей и собственно к текстам произведений, тогда как прежде над изучением литературно-художественной конкретики доминировало рассмотрение повторяющихся, “надындивидуальных” феноменов словесного искусства: жанры и иные обладающие устойчивостью литературные формы. В-третьих, ученые XX века стали смещать центр своих штудий от генезиса литературного творчества на его плоды. Об этом в 1920-е годы убедительно сказал А.П. Скафтымов: “...возник вопрос о состоятельности прежних генетических методов”, и главная (первичная) задача ученых ныне состоит в прямом обращении к отдельным художественным произведениям, в постижении их “эстетической целостности” [1, с. 21, 28].

Все это вместе явило собой позитивно значимый сдвиг: литературоведение перешло на новый этап развития, который и дал о себе знать в ведущих научных школах, существовавших в России на протяжении 1910–1970-х годов. Здесь оказались беспрецедентно активными методологическая рефлексия и собственно теоретическая мысль. Каждая из школ выработала свой научный язык, оперировала собственными, вновь актуализированными или сполна новыми понятиями и терминами: острающий прием, композиция, фабула и сюжет, литературная борьба – у формалистов; знак, структура, текст – у структуралистов; характер, социальность, классовость – в марксистском литературоведении.

Подобного рода специализация литературоведения создавала почву для постижения учеными отдельных граней литературного творчества, для их тщательного изучения, а тем самым – для широкомасштабного обновления науки. В наибольшей мере это относится к формализму, представители которого решительно обратились к теоретической поэтике, разрабатывая её по-новому, совсем не в нормативной традиции, шедшей от античности к классицизму и XVIII–XIX столетиям. “Возрождение поэтики”, – так обозначил установку новой школы Б.М. Эйхенбаум [2, с. 378]. На проблемах поэтики были сосредоточены и структуралисты, в особенности на ранних этапах своей деятельности. Их, как и формалистов, интересовали прежде всего композиционно-стилистическая и ритмическая сторона произведений, чему, в частности, посвящены были программные книги Ю.М. Лотмана “Структура художественного текста” (1970) и “Анализ поэтического текста” (1972). Серьезные литературоведы-марксисты тоже напрямую обращались к самым словесно-художественным произведениям. В.Ф. Переверзев в книге 1914 года писал: “Мой этюд будет иметь дело *только* с произведениями Гоголя и ни с чем больше, стремясь проникнуть возможно глубже в изучение особенностей их формы и содержания” (курсив наш. – О.Н., В.Х.) [3, с. 45]. Много позже в программной статье 1928 г. ученый утверждал, что прежние методы “всегда толкали исследователя не вглубь литературы, а в сторону от нее”. Вот итоговое суждение в той же статье: литературоведу нужно “пристальное изучение всех элементов поэтической *структуры*, напряженнейшее внимание к мельчайшим подробностям художественной картины” (курсив наш. – О.Н., В.Х.) [4, с. 15–16]. В том же русле и теоретическая поэтика Г.Н. Пospelова, ученика В.Ф. Переверзева, настроенного по отношению к нему во многом скептически. В составе произведения он выделял *различные* стороны его формы и содержания и, главное, настойчиво акцентировал активность автора, определенным образом осмысливающего и оценивающего те или иные грани реальности, тогда как у Переверзева писатель был лишь медиумом своей среды, определенной “социальной ячейки”. Говоря о литературоведении, ориентированном на марксистскую социологию, к месту вспомнить и Ю.Г. Оксмана, рассмотревшего отечественную классику в русле суждений В.И. Ленина об этапах освободительного движения в России.

Успешно преодолев ограниченность прежней науки о литературе: сосредоточенность на генезисе творчества писателей, нередкую склонность

к самодовлеющему эмпиризму, — ученые-направленцы достигли очень многого. И именно они определяли атмосферу научной жизни своего времени. Марксистское литературоведение, формализм, а позднее и структурализм составляли едва ли не центр отечественной науки на протяжении десятилетий. Но при всех их достоинствах, эти школы, что со временем осознавалось все яснее, были склонны к некоторой схематизации своего предмета и к методологическому догматизму.

2.

Отношение “направленцев” к научному прошлому, а также к той части литературоведческой современности, которая расходилась с провозглашавшимся ими *credo*, было по преимуществу негативным. Собственные концепции мыслились учеными подобной ориентации как *впервые* открывающие надежные пути к торжеству подлинной науки, которой раньше будто бы не существовало. Это был своего рода авангардизм: сделаем все наново, “отречемся от старого мира!”. Как справедливо отметила И.Б. Роднянская, имея в виду литературоведение истекшего столетия, “каждое поколение предпочитает начинать все сызнова. Мы не умеем продолжать...” [5, с. 11].

Для сотворения всего и вся “сызнова”, считали представители литературоведческих школ, необходимо поначалу отвергнуть, разрушить все привычное, традиционное. Будучи людьми эпохи “сверхожиданий” (А.А. Золотарев), они оказывались нетерпимыми, а порой и агрессивными к своим “неединомышленникам”. По верным и точным словам С.Л. Козлова, на протяжении советского периода нашей истории “с предельной страстью” велись нескончаемые “методологические войны”, которые “предполагали жесткую причастность исследователя к определенной научной школе”: царил “боевой дух”, связанный с “научной верой”. И далее: “...подобный ход развития науки — через сшибку взаимоисключающих утверждений, претендующих на общезначимость, — воспринимался, в сущности, как единственно возможный”. И наконец: основой “функционирования научных школ” на долгое время стали “подлеповатость и однобокость” [6, с. 19–20]. Воинственность для такого литературоведения являлась своего рода категорическим императивом. “Рушить огороды старой культуры” — такова была программа, заявленная Р.О. Якобсоном в 1915 г. [7, с. 415]. Позже о “веселом деле разрушения” классики, включая Пушкина, как о современной задаче говорил В.Б. Шкловский [8, с. 220]. Подобным же образом высказался в 1926 г. Б.М. Эйхенбаум: “Основной

пафос нашей работы должен был быть пафосом разрушения и отрицания” [2, с. 403].

Негативным и нуждающимся в полном устранении формалисты считали укорененный в психологии общества мертвенный автоматизм восприятия. Механическое узнавание вещи, полагали они, подменяет ее живое видение. Автоматизация мыслилась Шкловским как едва ли не главное зло прошлого и настоящего. Автор программной статьи “Искусство как прием” ужасался, что вследствие всеобщей автоматизации “пропадает, в ничто вменяясь, жизнь”. И далее: “Автоматизация съедает вещи, платья, мебель, жену, страх войны” [9, с. 50–54]. О том же — в более поздней работе: “Мы живем в бедном и замкнутом мире. Мы не чувствуем мира, в котором живем... Мы смотрим друг другу в лицо, но не видим друг друга... не замечаем стульев, на которых сидим, женщин, с которыми ходим под руку” [10, с. 11]. Много лет спустя Шкловский сетовал, что “мир болен однообразием” [9, с. 89]. Скучность мира, воспринятого людьми, мыслилась формалистами как некая всеобщая данность, которую и подобает разрушить с помощью необычных приемов, позволяющих смотреть на жизнь остротенно, видеть окружающее и ему радоваться.

Воинствующий “антитрадиционализм” формалистов рельефно сказался в письме Б.М. Эйхенбаума к В.М. Жирмунскому (1921) по поводу его книги об А.А. Блоке: “Ты не пережил никакого перелома и здесь-то мы с тобой и разошлись. Ты пришел и усвоил кое-что (из установок формалистов. — *О.Н., В.Х.*), прибавив это к тому, что ты сам прежде думал и делал. И вот это-то твое сопротивление, это желание сохранить свое прошлое, свою самостоятельность, пугает меня в тебе и вызывает иногда раздражение. Я — несколько фанатик, и, может быть, этим тоже иногда раздражаю тебя. Но тут ничего не сделаешь, и *меня пугает, что в тебе мало фанатизма*” (курсив наш. — *О.Н., В.Х.*) [11, с. 314–315].

Антитрадиционалистский фанатизм был присущ и литературоведам марксистской ориентации. Так, В.Ф. Переверзев в программной статье 1928 г. утверждал, что литературоведу-марксисту следует “беречься от всяких рецидивов старых методов” [4, с. 18]. Столь же жестким было отношение марксистов к деятельности современных им ученых. В предисловии ко второму изданию своей книги (1926) Переверзев с порога отмел все, сказанное о Гоголе за последнее время: “...новых достижений нет, и моя книга без всяких изменений и исправлений остается теперь такой же новой, как и десять лет назад при первом ее

издании” [12, с. 17]. В подобном же роде в 1925 г. высказался Г.Н. Пospelов. По его словам, обязанность современного литературоведа – “быть не широким и восприимчивым, но нетерпимым, нужно уточнять и отмежевываться” [13, с. 327]. В конце 50-х годов одному из авторов этой статьи в разговоре-споре с Пospelовым довелось услышать такую его реплику: “В науке надо быть фанатиком своей методологии”.

Еще одна общая черта, присущая ведущим литературоведческим направлениям 1910–1920-х годов, – это их по преимуществу негативное отношение к культурно-историческому прошлому. На формализме (особенно раннем), как известно, лежала печать футуристического нигилизма. Литературоведами-марксистами жизненный уклад дореволюционной России тоже отвергался весьма решительно. Так, по Переверзеву, основу творчества Гоголя составил “бесцветный и безвкусный корень мелкопоместного небокопительства”, а в центре внимания Достоевского – “нудная, гнетущая ум и сердце обстановка разлагающегося мещанства” [3, с. 186, 344].

Нечто подобное имело место и в составе отечественного структурализма (тартуско-московская школа 1960–1970-х годов). Здесь отвергались не только советский литературоведческий “официоз”, но, во многом, традиции отечественной науки как таковые. Обратимся к значительно более поздней статье Б.М. Гаспарова о тартусцах: «Для ученых этой психологической формации было характерно глубокое недоверие <...> не только к административным учреждениям, но даже к традиционным предметам научных занятий, общепринятому научному языку, формам общения с коллегами <...> поскольку всё “обитаемое” пространство культуры было заражено». Утверждалось, что освобождением от всего наличествующего в литературоведении «должна была стать не “перестройка”, но отчуждение и уход... строительство заново, как бы на пустом месте» [14, с. 281–282].

Для кого-то из ученых прошлого времени, однако, литературоведы-направленцы делали исключение: Г.В. Плеханов говорил о достижениях культурно-исторической школы; формалисты уважительно относились к А.Н. Веселовскому, хотя и не соглашались с его выводами. Р.О. Якобсон в лекциях середины 1930-х годов, хоть и назвал литературоведов начала века эпигонами Веселовского, с уважением отзывался о В.Н. Петерце, А.М. Евлахове, Ф.Д. Батюшкове [15, с. 40, 44, 52]. Участники тартуско-московской школы проявляли дружественную расположенность

к ученым, не имевшим ничего общего со структуралистской методологией. Одна из книг серии «Труды по знаковым системам» была посвящена Д.С. Лихачеву. В Тарту появлялись блоковедческие работы Д.Е. Максимова, который не был причастен семиотике. Недавно опубликована его доверительно-личная переписка с Ю.М. Лотманом, содержащая обсуждение и ряда научных проблем (см.: [16]). В ранней статье Лотмана в качестве предшественников названы А.П. Скафтымов, В.Я. Пропп, М.М. Бахтин (см.: [17]).

И все-таки господствовало в научных сообществах неприятие любой “инаковости”, как прошлой, так и нынешней. В мире литературоведческих направлений доминировала нетерпимость. Работал механизм сознания, который хорошо передают речения следующего типа: “Существуют два мнения: мое – и неправильное”.

Негативизм к научному, а в значительной мере и к общекультурному прошлому, преобладавший в рассматриваемых школах, был неразрывными узлами связан с утопической, нередко притом и революционной настроенностью. Утопический характер марксистского литературоведения самоочевиден. Своего рода утопией был и проект преобразования человеческой психологии у формалистов.

От притязаний подобного масштаба участники тартуско-московского сообщества были свободны. Но склонность к утопическим проектам имела место и у них. “Семиотической утопией” не без основания назвал доктрину молодых структуралистов Б.М. Гаспаров. По его словам, из духовного опыта тартусцев, ставивших перед собой “глобальные цели”, “вырастал образ яркого здания человеческой культуры”, культуры будущего. “Отныне, – вспоминал ученый, – движение вперед должно было состоять в реализации начертанного плана, вплоть до полного его воплощения. Утопический синтез несет в себе черты откровения: приобщение к идеалу мгновенно и радикальным образом преобразует эмпирический мир из хаоса в упорядоченный космос” [14, с. 290, 292]¹. “Сверхнадежды” структуралистов в пору становления их идей имели широкий резонанс в среде филологической молодежи 1960-х годов. Один из авторов данной статьи помнит,

¹ В процитированной статье (1986) Б.М. Гаспаров, заметим, смотрит на структурализм времен “Летних школ” (1964–1974) со стороны, в немалой мере критически: “Герметическая, семиотическая утопия несла скорее эмансипацию, чем освобождение, она вдохновлялась образом идеально построенного и замкнутого убежища, а не идеально построенного и обновленного мира” [14, с. 293].

как в 1964 году, после появления в Тарту “Лекций по структуральной поэтике” Ю.М. Лотмана, студенты и аспиранты филологического факультета МГУ подготовили и провели обсуждение этой книги. Вывешено было объявление с перечнем вопросов к предстоящей дискуссии. Среди них был и такой: “Является ли литературоведение наукой?”. Рядом с этим вопросом кто-то из студентов написал: “После появления книги Лотмана – да, является!”.

3.

Радикальной настроенности лидеров и участников научных школ часто сопутствовала недостаточность собственно исследовательского начала, то есть подмена надежно обоснованных фактами обобщений поспешными декларациями. “Весьма легко, – писал А.Л. Бем, имея в виду, по-видимому, как формалистическое, так и марксистское литературоведение, – вместо выводов, основанных на тщательном сопоставлении материала, *впасть в широкие обобщения*, не имеющие достаточной почвы под собой” (курсив наш. – О.Н., В.Х.) [18, с. 158]. Подобным же образом высказался в середине 1920-х годов В.В. Виноградов: “Когда наука еще не существует, она склонна открывать множество законов”. Эти слова прокомментировала Л.Я. Гинзбург, имея в виду, по-видимому, Ю.Н. Тынянова и Б.М. Эйхенбаума: «Так и бегали звонить друг другу по телефону: “Я открыл закон!”». И еще: Эйхенбаум “отстаивал пресловутую теорию имманентного развития литературы не потому, что он был неспособен понять выдвигаемую против него аргументацию, а потому, что хотел беречь свою слепоту, пока она охраняла поиски специфического в литературе”. (Вспомним программную формулу Эйхенбаума: “мы – спецификаторы”). И наконец: “...наши учителя не любили науку, они любили открытия” [19, с. 19, 37, 22]. Полностью согласиться со всем этим невозможно: деятельность формалистов была в немалой мере и научно-исследовательской. Но жесткие слова Гинзбург об ее учителях небезосновательны. Они легко относимы и к литературоведам марксистской ориентации, и (в значительной мере) к юным участникам “тартуско-московского движения”: во всех этих случаях имело место то, что Бахтин называл “роковым теоретизмом”.

На гносеологические истоки общности между ведущими литературоведческими школами истекшего столетия, мы полагаем, способна пролить свет культурологическая теория Б. Малиновского, который утверждал, что существует два рода

опытов изучения культуры: в одних случаях ученые стремятся прежде всего к “анализу фактов... исчерпывающему и четкому”, в других – строят “амбициозные схемы” [20, с. 34–35]. Правомерно сказать, что русское направленческое литературоведение отдавало дань схематизации изучаемых предметов, или, говоря безоценочно, во имя дедукции отодвигало на второй план “опытное”, собственно исследовательское начало. Здесь, как правило, не столько вершился непредвзятый поиск истины, сколько еще и еще раз подтверждались определенные теоретико-методологические положения.

Примату дедукции над индукцией и схематизации изучаемых фактов в работах лидеров и участников научных школ так или иначе сопутствовало *редуцирование* литературы². Творения писателей утрачивали многоплановость и смысловую насыщенность. Настойчиво обращаясь к самым художественным текстам, литературоведы-направленцы вместе с тем как правило не добивались до *формально-содержательной целостности* произведений.

По-своему яркий образец теоретико-литературного редуционизма – изначальные научные установки формалистов. Так, в программной статье В.Б. Шкловского искусство было охарактеризовано одним-единственным словом “прием”. В этом роде решительно высказался Р.О. Якобсон: «...предметом науки является не литература (подразумевались, полагаем, ее многоплановость и разнородные связи с тем, что ей внеположно. – О.Н., В.Х.), а “литературность”», которая сводилась молодым ученым к тому самому приему: «Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать “прием” своим единственным “героем”» [21, с. 275]. С императивной жесткостью ратовал за безраздельное господство приема в литературе и в науке о ней Б.М. Эйхенбаум в статье 1921 г. «Как сделана “Шинель” Гоголя». Исходя из того, что художественное произведение “всегда есть построение и игра”, он утверждал, что мы “не можем и не имеем никакого права” (курсив автора) видеть в тексте “что-либо другое, кроме определенного художественного приема” [22, с. 321].

Безудержная апология приема, в немалой мере содействуя изучению композиции, стилистики, ритмического строя художественных текстов, исключала рассмотрение художественного мира произведений и собственно содержательного

² О редуционизме в литературоведении см.: Хализев В.Е. О стратегиях анализа литературных произведений // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 6.

пласта. Они не просто оставались вне поля зрения формалистов, но и с порога отсекались от науки, трактовались как “жизненный материал”, нуждающийся лишь в преодолении писателями, и потому не весьма достойный внимания ученых: все это, по Шкловскому, – лишь *мотивировка* приема.

Редукция литературных произведений (совсем в ином роде) имела место и у марксистов. Здесь изучались по преимуществу социально обусловленные характеры героев, но оставались в стороне индивидуальные черты изображаемых писателем лиц, их нравственная ориентация и, в особенности, все то, что связано с религиозностью. Доминировало понятие “социальный характер” или (со ссылкой на определение Ф. Энгельсом реализма) “типический характер”. И превыше всего ценился реализм, понимаемый как верное воспроизведение феноменов общественно-исторических. Так, в частности, обстояло дело в книге Д. Лукача “К истории реализма” (1939). При этом в литературе и искусстве отрицалось все то, что выходило за рамки реализма и было связано с модернистскими новациями XX века. Воинствующим противником модернизма как “внутренней заразы” был М.А. Лифшиц [23, с. 31]. Редуцированию предмета научных штудий отдали дань и структуралисты с их убежденностью, что знаки и их системы безраздельно царят как в искусстве, так и во внехудожественной реальности.

Структуралисты в своих программных высказываниях вовсе не отрицали значимости анализа содержания художественного текста и настаивали на том, что семиотический подход как раз позволяет преодолеть редуционизм предшествующей научной традиции, разделявшей изучение художественной структуры и содержательно-идеологической стороны произведения. Так, в статье “О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры” Лотман писал, что “изучение лингвистическими средствами текста... не может дать исчерпывающего понятия о мысли, вложенной автором в литературное... сочинение, т.е. о подлинной семантике текста. Кроме лингвистической структуры, необходимо учитывать и структуру передаваемого содержания, которая... не является языковой по своей природе” [24, с. 50]. В статье “Литературоведение должно быть наукой” он утверждал, что структурное литературоведение “ставит перед собой задачу раскрыть идею произведения как единство значимых элементов” [17, с. 96] и приводил примеры, связанные со сферой аксиологии, которую рассматривает как важнейшую часть структуры содержания. Однако когда речь

заходит о конкретных исследованиях структуралистов, мы видим, что приоритет отдается именно структурно-композиционному анализу, о плане же содержания речь идет весьма нечасто.

Склонности марксистского, формалистического и структуралистского литературоведения к редуцированию своего предмета сопутствовало непомерное расширение значений опорных терминов. Согласно догматам марксизма, в явлениях искусства доминировала всеобъемлющая социальность, ибо человек – это продукт общественных отношений. “Прием” и “автоматизация” у формалистов и их наследников тоже выходили за рамки искусства и мыслились как общекультурная данность. Похожа судьба лексемы “текст” в словоупотреблении структуралистов. “Если наша жизнь не текст, то что же она такое?” – вопрошал Р.Д. Тименчик на одном из заседаний Летней школы тартуских семиотиков (см.: [25, с. 301]).

При подобных понятийно-терминологических операциях оказывалась неизбежной *деперсонализация* литературы. Внимание ученых к индивидуальности писателей, и их героев оказывалось весьма слабым, а то и отсутствовало вовсе³. Так, завершая свою книгу о Достоевском (1912), В.Ф. Переверзев писал: “Я оставлял в стороне личность самого художника, его субъективные симпатии и антипатии. Меня интересовали герои его произведений, их психология и окружающая среда”. Ученый полагал, что изучение писателя как “живой личности” – это задача не литературоведов-аналитиков, а биографов [3, с. 333–334]. Как правило, не обращали внимания на индивидуальные черты авторов также формалисты и структуралисты. Творчество у литературоведов направленного склада предстает как запечатление чего-то внешнего по отношению к писателю: приемов как таковых, или общественных отношений, или семиотических механизмов культуры. Возникала парадоксальная ситуация, когда при самом пристальном внимании к текстовой конкретике литературных произведений, ученые обходили стороной все связанное с персональностью и тем самым – со специфически-гуманитарными началами науки о литературе. Штудии подобного рода мало соприкасались с герменевтикой и аксиологией: понятие ценности, как эстетической, так и внеэстетической,

³ Об игнорировании и даже разрушении литературоведческими школами “индивидуальной целостности человека”, будь то персонажи или авторы литературных произведений, см.: *Мартыанова С.А.* Образ человека в литературе: от типа к индивидуальности и личности. Владимир, 1997. С. 13–23.

в них не актуализировалось. «Теория ценности в литературной науке... приводит историю литературы в вид “истории генералов”», – с заметным недовольством высказался Ю.Н. Тынянов [26, с. 270]. Уместно вспомнить и суждение О. Меерсон о Р. Барте. По ее мысли, здесь налицо “агностически-запретительная школа”, которая игнорирует автора произведения и “присущую ему аксиологию, ценностный взгляд на мир и на людей вокруг себя” [27, с. 15–16]. Эти слова, мы полагаем, совершенно справедливые, правомерно (пусть и с некоторыми оговорками) переадресовать всем научным школам, о которых идет речь.

Редукция предмета изучения была естественным следствием определенной гносеологической установки. Предполагалось, что литературоведение может стать научным, лишь приблизившись к идеалу точного знания по образцу естественных и математических наук. По словам В.М. Живова, «Якобсон, видимо, искренне верил, что гуманитарные науки могут стать “настоящими” науками, и видел в семиотике то пространство, в котором должна осуществиться эта трансформация» [28, с. 34].

Так обнаруживается глубинное родство направленного литературоведения с позитивизмом, который ратовал за строгую научность (по образцу естественнонаучного знания), считая ее высшей формой человеческой деятельности и при этом отвергая все иные познавательные стратегии. О близости формалистов именно этой ветви философии говорилось неоднократно, в том числе самими формалистами. “Отсюда – новый пафос научного позитивизма, – писал Эйхенбаум в программной статье 1926 г., – характерный для формалистов: отказ от философских предпосылок, от психологических и эстетических истолкований и т.д. Разрыв с философской эстетикой и с идеологическими теориями искусства диктовался самым положением вещей. Надо было обратиться к фактам и, отойдя от общих систем и проблем, начать с середины – с того пункта, где нас застает факт искусства” [2, с. 379]. О том же как о самоочевидности говорится в недавней коллективной монографии: “формалисты были позитивистами” [29, с. 223]. Сказанное о формалистах в полной мере можно отнести и к русскому структурализму. Участники тартуско-московской школы в своих воспоминаниях впрямую говорили о соотносении собственных установок с позитивизмом – с одной стороны, и малой значимости для них поисков философского базиса – с другой: “Поначалу в атмосфере наших собраний витал дух позитивизма и Венского кружка...”, – вспоминал А.М. Пятигорский [30, с. 324]. «Философского

обоснования методов не было, слово “герменевтика” не произносилось» – отмечал М.Л. Гаспаров [25, с. 302]. О том же более развернуто высказался В.М. Живов. По его словам, московско-тартуская семиотика, “оказалась практически полностью глуха к философской проблематике. Советские семиотики ни Хайдеггера, ни Ясперса, ни Гуссерля, ни Гадамера, ни философов Франкфуртской школы, как правило, не читали, и их поиски – в том числе и в области структуры смысла и работы сознания со смыслом – в интеллектуальный кругозор большинства московско-тартуских семиотиков не входили” [28, с. 23]. Столь же очевидным представляется и родство с позитивизмом контовского толка философии марксизма с его установкой на социологию (а точнее – на один из ее аспектов) как на фундамент изучения художественного творчества.

Заметим, что отстраненность направленного литературоведения от философствования не означала отсутствия интереса ученых к философии как таковой. Так, для Эйхенбаума и Шкловского немалое значение имел А. Бергсон (см.: [31]), для Лотмана, вероятно, Кант. Все это, однако, не эксплицировалось в их научных работах. “Ю.М. Лотман не только не проявлял никакого интереса к философскому и методологическому обоснованию своих концепций, но и прилагал определенные усилия, чтобы их скрыть”, – писал его сын [32, с. 215], приведя цитату, открывающую “наиболее философское”, по его мнению, сочинение отца: “Предлагаемое читателю краткое изложение некоторых исследовательских принципов не следует рассматривать как претендующее на философское значение. Автор весьма далек от претензий такого рода” [33, с. 187–197].

По всей видимости, именно уклонение от философии в сочетании с безоглядным гносеологическим оптимизмом и опора на идеал точного знания обусловили то типологическое подобие ведущих литературоведческих направлений, о котором шла речь. Глубинная же причина этого сходства состоит, по-видимому, в беспрецедентно напряженном динамизме жизни двадцатого столетия как в России, так и за ее пределами: в мощном революционно-утопическом веянии, которому оказались подвластными великие человеческие множества, включая и политиков, и философов, и публицистов, и деятелей искусства, и ученых. Культура в целом оказалась окрашенной в воинственные тона, по преимуществу марксистско-ниzscheанские.

История человечества едва ли не в большинстве случаев мыслилась в эту эпоху как

нескончаемая цепь взрывных ситуаций, которые расценивались как безусловно благие. Наличеству, утверждал Е.И. Замятин в 1923 г., некий космический универсальный закон революций, который “багров, огнен, смертелен”, но освобождает общество от “коры догм... абсолютов, вер” [34, с. 96]. Закон революционного, взрывного развития усматривался не только в общественно-исторической области, но также в сферах искусства, науки, философии, где возобладали авангардистские веяния. Яркое свидетельство тому – широко известная книга Т. Куна “Структура научных революций”.

Комплекс отторжения от прошлого, а в какой-то мере и современного культурно-художественного опыта в русском сознании XX века, особенно первой его половины, едва ли не преобладал. Это Блок с его апологией революции как стихии (“Интеллигенция и революция”, “Крушение гуманизма”, “Катилина”); футуристы, манифест которых с говорящим названием “Пощечина общественному вкусу” начинается словами: “Только мы – лицо нашего Времени”; В. Хлебников, именовавший себя Председателем земного шара. Это и Замятин с его апологией бесконечных революций, вершителей которых он именовал взрывателями и еретиками: “Еретики – единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли. Справедливо рубят голову еретической, посягающей на догмы, литературе: эта литература – вредна. Но вредная литература полезнее полезной: потому что она – антиэнтропийна, она – средство для борьбы с обызвествлением, склерозом, корой, мхом, покоем” [34, с. 96–97].

Подспудное методологическое и мировоззренческое схождение враждовавших в литературоведении сил подтверждает правоту крупного биолога-философа истекшего столетия Конрада Лоренца: ожесточенная борьба человеческих сообществ оказывается неминуемо связанной “с поразительным сходством” между ними [35, с. 278].

Свою ориентацию на революционно-авангардистскую, то есть *взрывную* концепцию истории искусства, науки, общества как такового, направленческое литературоведение заявило весьма настойчиво. Так, в статье “Литературный факт” Тынянов решительно отвергал концепцию “мирной преемственности” в литературе. Он утверждал, что “принцип литературной эволюции” – это “борьба и смена”, “смещение”, “скачок”. Понятие традиции отметалось с порога. Взамен ему фигурировало заведомо негативное эпигонство: “...говорить о преемственности только при явлении...

эпигонства” (курсив автора) [26, с. 256, 258]. “Взрывным началом” в человеческой реальности придавали едва ли не решающее значение при рассмотрении литературы также марксисты, что самоочевидно, и структуралисты. “Культура и взрыв” – говорящее название одной из последних работ Ю.М. Лотмана.

Направленческие теории, как видно, воспринимали литературу и науку о ней не как сферу мирного сотрудничества, но в качестве арены нескончаемых конфронтаций, а потому оказывались (пусть порой и невольно) причастными господствовавшей в их пору идеологии. При этом ученые-направленцы противостояли широко бытовавшим в их эпоху и весьма авторитетным антропологическим идеям. С.Л. Франк в книге 1930 г. (Париж) утверждал: “...если принцип творческой инициативы не созревает спокойно в лоне давних традиций, не напоен их силами” то он “остается внутренне бессильным, лишается начала подлинного творчества... Всякий решительный и радикальный отрыв от предания есть отрыв зачинающегося ростка от питающей его почвы”; в подобных случаях имеет место лишь видимость новизны. Говорится также, что радикализм, ставший бунтарством, реакционен, ибо толкает жизнь назад [36, с. 127].

В том же духе высказывались и западноевропейские гуманитарии. Б. Малиновский подверг критике дарвиновское учение о всеобщей борьбе за существование. Он считал, что главным понятием теории эволюции “является взаимопомощь между индивидами внутри сообщества” [20, с. 135]. Апологии нескончаемой борьбы в человеческой реальности решительно противостояли и французские историки, составившие в 1930-е годы “школу Анналов”. Ее участниками история мыслилась как совокупность надэпохальных констант и как нескончаемая цепь медленно протекающих, порой едва приметных процессов. Ф. Бродель, один из лидеров этой школы, утверждал, что созданное веками равновесие нарушать рискованно, что в области культуры мы имеем дело прежде всего “с... постоянством и устойчивостью”, а потому следует изучать “медленную историю”. Взрывные же моменты, на которых была сосредоточена традиционная историческая наука, являются лишь частностью. «Событие – это взрыв, “звонкая монета”... Его угар заполняет все, но он кратковременен и пламя его (в большом времени. – О.Н., В.Х.) едва заметно» [37, с. 124, 127, 117]. Традиции “школы Анналов”, заметим, присутствуют в трудах наших соотечественников: А.Я. Гуревича и Г.С. Кнабе.

Отвержение направленческими теориями едва ли не важнейшего пласта культуры, можно сказать, мирного, на котором были сосредоточены Б. Малиновский, С.Л. Франк и Ф. Бродель, знаменовало их ограниченность, хотя и давало неоспоримые позитивные результаты. По мудрым словам Л.Я. Гинзбург, здесь имела место «система *плодотворных* односторонностей» (курсив наш – О.Н., В.Х.) [19, с. 55]. Истоки направленческой односторонности, по-видимому, состояли в том, что ученые этой ориентации (сознательно или невольно – другой вопрос) не вполне корректно переносили нормы и установки социально-политической сферы своего времени в область культуры, для которой насущны и органичны иные стратегии. Но эта односторонность возникла исторически неотвратимо и (Гинзбург права) оказалась весьма плодотворной: и прямыми результатами деятельности «направленцев», и вызванным этой деятельностью мощным резонансом в широких кругах деятелей культуры.

Важно и другое: к подтверждениям собственных воинственных *сгедо* деятельность лидеров и участников рассмотренных школ далеко не сводилась. Исходные теоретические положения нередко корректировались, отступали на второй план, а то и пересматривались. Состав сделанного формальной и семиотической школами, а также марксистски ориентированным литературоведением, был намного более емким и богатым, нежели простое иллюстрирование первоначальных постулатов. Об этом мы и поведем речь.

4.

Антитрадиционализм и утопическая настроенность представителей ведущих научных школ, а также их склонность к редуцированию изучаемого с предельной полнотой давали о себе знать на начальных этапах их деятельности. Это было время «бури и натиска», всплесков энергии и безмерного оптимизма. Царила атмосфера молодого задора. Имела место своего рода пассионарность научных сообществ. Выступления «направленцев» оказывались яркими, действенными, заражающими.

В узком кругу лидеров формализма и гораздо более широком – участников тартуско-московской школы наличествовала добрая жизнелюбность, о которой как неоспоримой ценности в свое время сказал П.А. Вяземский: «Забавность, истинная и общительная веселость» [38, с. 204]. Вот слова из письма В.Б. Шкловского Р.О. Якобсону (1922), находившемуся за пределами России: «Возвращайся. Лучше чинить свою дырявую

кровлю, чем жить под чужой... Без тебя в нашем зверинце не хватает хорошего веселого зверя» [39, с. 146]. Вспоминаются и слова В.А. Каверина о молодом Ю.Н. Тынянове: «Это был человек необыкновенного душевного веселья, которое сказывалось решительно во всем» [40, с. 32]. А уж о самом Шкловском с его неисчерпаемым каскадом шуток – что и говорить.

Нечто подобное имело место в московско-тартуском сообществе (Летние школы 1964–1974 годов), где, по словам Б.Ф. Егорова, царила «атмосфера раскованности и душевного подъема», веселости, шуток. На одном из вечеров была зачитана пародия на «эзопов стиль» наименований лотмановских статей: «К реконструкции одного несуществовавшего замысла (О методике работы с несуществующими источниками)». «Лотман очень смеялся», – вспоминал Егоров [41, с. 123, 125]. А вот строки из воспоминаний самого Лотмана об этой светлой поре: «Все споры были дружественными... Шутили мы всегда, работали очень весело, но и очень напряженно... именно здесь приходили на помощь счастливое разнообразие интересов и «необщее выражение» личностей» [42, с. 297].

Энтузиазм и мажорная настроенность бытовали и в кругу литературоведов-марксистов 1920-х годов. Об огромном успехе лекций В.Ф. Переверзева вспоминала Евг. Таратута: полная Коммунистическая аудитория Московского университета, где собирались и «студенты других курсов и факультетов», вызывали энтузиазм, от которого «захватывало дух» [43, с. 92]. Вместе с тем атмосфера общения литературоведов-марксистов в 30-е годы и позднее была иной, нежели та, что преобладала в кругу формалистов и структуралистов. Ее можно охарактеризовать словами М.М. Бахтина из книги о Рабле: односторонняя серьезность. Этой серьезности часто сопутствовали взаимное отчуждение и враждебность, нередко выливавшиеся в суровые идеологические обвинения. Прав А.Н. Варламов: в гуманитарной жизни советской эпохи имело место «взаимное чувство стойкой неприязни, отличавшее... особенно тех, кто имел отношение к изящным искусствам» [44, с. 510].

Воодушевление и пассионарность всех трех рассматриваемых научных школ оказывались недолгими. За подъемом и взлетами неминуемо следовал спад. Именно такой путь прошел формализм. Неблагополучия дали о себе знать уже в начале 1920-х годов. В докладе близкого формалистам Б.В. Томашевского с говорящим названием «Формальный метод (Вместо некролога)» было заявлено, что «формальный метод умер,

стал покойником” [45, с. 814]. В кругу лидеров формализма со временем нарастало чувство неудовлетворенности самими собой и окружающим. “Все-таки много грустного, мой милый, – писал в 1932 г. Б.М. Эйхенбауму В.Б. Шкловский. – И отдохнуть надо, и людей хочется, и впечатлений хочется, и писать хочется, и успеха немного хочется или хоть уважения, что ли, – я не знаю, как это называется... А всего этого нет. Есть только история” [46, с. 203]. Приведем и дневниковые записи Эйхенбаума начала 1950-х годов: «Писать “терминами” (имеется в виду лексика марксистского литературоведения той поры. – *О.Н., В.Х.*) я не могу, а языка теперь нет»; “Иногда с трудом держу себя в руках; подите вы все к чертям – и оставьте меня в покое. Страшные расхождения поколений: совсем не понимаем друг друга” [47, с. 29–30]. О разладе между лидерами формализма и их учениками (“младоформалистами”) говорил также Ю.Н. Тынянов (1929): “Это поколение худосочное, мы оказались плохим питательным материалом, а они плохими едоками... Очень скучно и нудно, мой милый Витя. Боюсь думать о скуке, которая растет” [46, с. 199–200]. Эйхенбауму и Тынянову вторил в своих письмах 1940–1950-х годов Шкловский: “Голос наш стал слишком громок для горла. Больно говорить... Не увижу жатвы. Нет учеников” [46, с. 211–214]. На разлад между лидерами формализма и их учениками проливают дополнительный свет записи Л.Я. Гинзбург. Вот одна из них (1927): «Сейчас известно, что существуем “мы” и существуют метры и что эти явления противопоставлены. В частности, метры нас презирают. У них была привычка к легким победам над учителями. Был момент, когда они выжидали: не окажемся ли мы сразу умнее их. Теперь они презирают нас за то, что мы не успели их проглотить, – и в особенности за то, что мы не испытываем потребности их проглотить. Они усматривают в этом недостаток темперамента» [19, с. 58–59].

Несколько иначе сложилась судьба отечественного структурализма: эпоха другая была, помягче. Но и здесь сработала та же схема эволюции: от изначального взлета и дружественного единения – к расхождениям между учеными, а нередко и пересмотру ими собственных позиций. “Касталия” круга Лотмана просуществовала недолго. “В середине 80-х годов, – утверждает В.М. Живов, – московско-тартуская школа *окончательно* (курсив наш – *О.Н., В.Х.*) распадается”. Помня об “интеллектуальной Аркадии”, ее прежние обитатели, однако, разбрелись в разные стороны. Далее говорится: “Попытки представить его (отечественный структурализм. – *О.Н., В.Х.*) как *живое*

течение сегодняшней интеллектуальной мысли бесперспективно. Что ушло, то ушло навсегда” (курсив наш. – *О.Н., В.Х.*) [28, с. 22, 25]. Судьбы структурализма и формализма, как видно, одна другой подобны. Эти школы, по словам Б.М. Гаспарова (1994), принадлежат эпохе, которая “все явственнее уходит в прошлое” [48, с. 2].

Иной, но в чем-то и сходной с тем путем, которым прошли эти научные школы, была судьба марксистского литературоведения. Говоря о нем, важно разграничивать собственно школу и советский официоз под флагом марксизма-ленинизма, который был за пределами научному знанию и выполнял прежде всего репрессивную функцию. Впрочем, здесь уместнее говорить во множественном числе, ибо существовали переверзевская школа, так называемое “течение” 1930-х годов, представленное М.А. Лифшицем, Д. Лукачем, Е.Ф. Усиевич, и (позднее) поспеловская школа. Серьезное марксистское литературоведение пребывало “на плаву” в лишь 1920-е годы и, в меньшей мере, в 1930-е. Позже, особенно во второй половине 1940-х годов, оно оказалось оттесненным псевдомарксистской и притом весьма агрессивной казенщиной, что в академической среде породило отторжение от литературоведения марксистского толка как такового на целый ряд десятилетий. Ныне же стали появляться работы, содержащие уважительно-взвешенное обсуждение марксистского литературоведения. Публикуются статьи о наследии Д. Лукача (см.: [49]), о В.Ф. Переверзеве как продолжателе органической критики Ап. Григорьева (см.: [50]). Предметом внимания стал и научный опыт Г.Н. Пospelова (см. статьи Л.В. Чернец и В.Е. Хализева в сб. [51]).

Недолговечность существования научных школ, даже крупномасштабных, по-видимому, является их сущностным, неустранимым свойством. На эту мысль наводят слова из романа Р. Музиля: “пророки, когда их дело затягивается”, попадают в “не на шутку затруднительное положение” [52, с. 443]. К сказанному австрийским писателем добавим: кратковременность литературоведческих школ обуславливалась целым рядом причин. Как утверждал Ю.М. Лотман, структурализм претерпел испытания двоякого рода – модой и гонениями. То же самое скажем о формализме, который, заметим, становился почитаемым дважды: в первой половине 1920-х годов и в послеоттепельные времена; в промежутке же он претерпел цепь гонений. Марксизм в литературоведении 20-х годов тоже пребывал в почете, но позже подвергся испытанию совсем иного рода, быть может, наиболее тяжкому: насильственному насаждению и вульгаризации. Главная причина

недолговечности научных школ заключается, видимо, в их методологической односторонности, в уязвимости их первоначальных установок, в отмеченных эпатажем программных манифестах. Не удивительно, что представители ведущих научных школ (включая их лидеров) со временем смягчали, а то и пересматривали свои первоначальные *credo*. Знаменательно завершение статьи Ю.Н. Тынянова “Блок” (1921): “Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотиться и приводят к *человеческому лицу за нею*” (курсив автора). Здесь, заметим, раннеформалистическая апология самоценного приема начисто отсутствует. А статья “Сокращение штатов” (1925) посвящена *литературному герою*, который в программном выступлении Якобсона и Шкловского третируется как сырой материал, нуждающийся в преодолении. Автор иронизирует над “бледным” и без конца страдающим “русским героем”, участь которого “достойна внимания Зощенко”. Он сетует: “Мы совсем позабыли про старого героя веселых авантурных романов”. И завершает статью так: “Веселый герой фабульных романов, надежный спутник, нетребовательный и сильный, – должен сменить сокращенного по штатам за недостатком мест и непригодностью русского героя” [26, с. 123, 145–146]. Б.М. Эйхенбаум в роли автора работ о Л.Н. Толстом, создававшихся на протяжении 1920–1950-х годов, также в значительной мере выходил за рамки собственно формалистической методологии. Названных ученых правомерно охарактеризовать, воспользовавшись известной формулой В.М. Жирмунского, как “преодолевавших формализм”.

И уж вовсе отошли от формалистических догматов Л.Я. Гинзбург, о чем уже говорилось, и Г.А. Гуковский, к сороковым годам ставший активным поборником марксистской социологии, за что, как это ни странно выглядит, поплатился жизнью в 1949 г. (см.: [53]). Своего рода “баланс” между причастностью формализму и отчужденностью от него имел место в работах Жирмунского, испытавшего влияние Эйхенбаума и Шкловского, обогатившегося их идеями, а вместе с тем оспорившего формалистическую концепцию уже в статьях рубежа 1910–1920-х годов. Явственен частичный отход от формализма Б.В. Томашевского в учебнике “Теория литературы. Поэтика” (первое издание – 1925).

М.Л. Гаспаров-стиховед, использовавший при рассмотрении художественных текстов принцип количественных подсчетов Б.И. Ярхо, который родственен формалистическим установкам, со временем сосредоточился на изучении

семантических ореолов метра, что к формализму прямого отношения не имело. И тем более удалены от этой научной школы гаспаровские опыты изучения древнеримских поэтов и русской поэзии XIX–XX веков. Так, ученого интересовала не только поэтика О.Э. Мандельштама, но также смысловая направленность его произведений.

Нечто подобное имело место и в эволюции семиотического движения. “По касательной” к структурализму работал тот же Гаспаров, утверждавший, что это единственное подлинно научное направление [48, с. 2], но бравировавший тем, что не понимает смысла слова “семиотика” (см.: [25]). Не оказалось решающим влияние структурализма и на В.Н. Топорова, который активно участвовал в тартуско-московских Летних школах, но впоследствии занялся иными предметами: петербургский текст, русская святость и многое другое. То же самое правомерно сказать и о ныне здравствующем Б.Ф. Егорове, который в лотмановском кругу 1950–1960-х годов был одним из первых лиц, а затем стал мемуаристом-аналитиком этого научного направления в России. Вместе с тем в ряде своих работ (книге об Аполлоне Григорьеве в серии ЖЗЛ, монографии о русском утопизме и др.) он уходит в сторону от структуралистской методологии и терминологии; во всяком случае, на них не опирается. Одному из авторов данной статьи Борис Федорович сказал, что ему близки такие ученые позитивистской ориентации, как Пыпин, Потебня, Веселовский.

И сам лидер отечественного структурализма Ю.М. Лотман был автором не одних только семиотических трудов. Ему принадлежат крупномасштабные работы о Пушкине и русской культуре как таковой, где семиотическая проблематика далеко не на первом плане. Главное же, ученый со временем уточнял, а в какой-то мере и пересматривал свои исходные теоретические положения. Некие коррективы к семиотической методологии наличествуют в книге ученого “Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиотика”, изданной на английском языке в 1990 г. Если в 1960–1970-е годы ученый считал семиотику универсальным единоспасающим научным методом изучения культуры (“любая реальность, вовлекаемая в сферу культуры, начинает функционировать как знаковая” [54, с. 165]), то в последних работах он высказался осторожнее, мягче: подвергалась сомнению концепция безусловного доминирования знаков в составе человеческой жизни. Психология тех, кто всецело сосредоточен на изучении знаков и их систем, утверждал поздний Лотман, может оказываться далеко не оптимальной как для научной деятельности, так и для самого ученого:

“...исследователь-семиотик, привычно преобразует окружающий его мир, высвечивая в нем семиотические структуры”; всё “семиотизируется в его руках”, мир вещей перестает существовать. И человек этот оказывается подобием фригийского царя Мидаса, желание которого исполнил Дионис: все, к чему отныне прикасается Мидас, превращается в золото, и он обречен на смерть [55, с. 154]. Речь здесь идет, мы полагаем, о *границах* научных возможностей семиотики: реальный мир, который изучается гуманитариями, состоит далеко не из одних лишь знаков. В приведенном высказывании нам видится переключка позднего Лотмана (пусть и отдаленная) с персоналистом П. Рикёром, по словам которого, “нет ничего более ошибочного, чем... утверждать: всё есть знак, всё есть язык» [56, с. 409]. Как справедливо сказал В.М. Живов, «Лотман постоянно делал попытки выйти из своего “семиотического” круга» [28, с. 20].

Со временем корректировал Лотман и другие свои суждения. Так, в своей последней работе он, по-прежнему настаивая на принципе взрывных начал в жизни общества, в то же время отмечал, что “и постепенные, и взрывные принципы... выполняют важные функции: одни обеспечивают новаторство, другие – преемственность” [57, с. 19–20]. И еще одно. Если в статье 1977 г. (соавтор – Б.А. Успенский) речь шла безусловном преобладании в русской культуре “дуальных моделей” и отсутствии в ней срединного пространства, то в одной из поздних лотмановских работ были высказаны иные соображения: в творчестве Пушкина, Л. Толстого, Чехова усмотрена тернарная модель, учитывающая срединное начало культуры. Говорится, что “русская культура классического периода... делится на... бинарную и тернарную системы” [58, с. 596].

Деятельность лидера отечественного литературоведения, как видно, далеко не сводилась к подтверждению фактами его первоначальных постулатов. Мысль Ю.М. Лотмана была исполнена нескончаемого и напряженного динамизма, а в то же время неуклонно верной самой себе: сверхтема научно-философских штудий (семиотика) изменений не претерпевала.

Труды ученых, причастных литературоведческим школам, как видно, не сводились к неукоснительному следованию их исходным методологическим постулатам. По словам С.Г. Бочарова, В.Н. Топоров “работал уединенно”, был “слишком крупен для направления” [59, с. 527]. И, как явствует из сказанного, далеко не одному только

этому ученому в пространстве направленных догматов было тесно.

5.

Наряду с литературоведами, о которых шла речь, в 1920-е годы и на протяжении последующих десятилетий работали ученые, остававшиеся в стороне от рассмотренных научных школ. Их наследие составило богатый, мощный пласт отечественной науки.

Правомерно выделить два их поколения. Это, во-первых, гуманитарии, которые формировались до революции и в первые годы после нее: пришедшие в науку на протяжении 1910–1920-х годов. Весьма масштабны в этом поколении А.П. Скафтымов и отправившиеся в эмиграцию А.Л. Бем, К.В. Мочульский, П.М. Бицилли (годы рождения – с 1879 по 1892). К числу лидеров этого же поколения “внеправленцев” правомерно отнести Д.Е. Максимова и Д.С. Лихачева (годы рождения 1904 и 1906).

За пределами ведущих направлений пребывал и М.М. Бахтин, весьма далекий от того, чтобы свой опыт ценностно противопоставлять тому, что было сделано до него и в его современности (см.: «Ответ на вопрос редакции “Нового мира”», 1970). Небольшая группа ученых (В.М. Волошинов, П.М. Медведев), к которой на рубеже 1920–1930-х годов принадлежал Бахтин, в литературоведении той поры погоды не делала. Мощный резонанс трудов и личности ученого, равновеликий высочайшей репутации структурализма и Ю.М. Лотмана как его лидера, наметился лишь в последние жизни Бахтина, а упрочился и достиг максимума позднее, в 1980–1990-е годы. Таковы вершины отечественного литературоведения последних десятилетий истекшего столетия. К месту назвать и Д.С. Лихачева, который в эту же пору обрел авторитет поистине беспрецедентный. Он был и главой научной школы, занимавшейся изучением истории древнерусской литературы, и автором ряда работ теоретико-литературного характера, а также влиятельным публицистом и общественным деятелем.

Следующая, вторая плеяда литературоведов подобного склада сформировалась и ярко проявила себя после войны 1941–1945 годов. Старший из них – Е.М. Мелетинский (1918 года рождения), приход которого в науку был задержан сталинскими репрессиями. Далее – тоже ушедшие из жизни В.Н. Топоров, В.Э. Вацуро, С.С. Аверинцев, В.В. Кожин, Е.Г. Эткинд, В.А. Грехнев, В.Я. Лакшин, А.В. Михайлов, А.П. Чудаков,

А.В. Карельский, С.И. Великовский, А.И. Журавлева и ныне здравствующие С.Г. Бочаров, В.М. Маркович, Ю.В. Манн, М.М. Гиршман (все названные ученые родились на протяжении одного десятилетия: 1928–1938), а также Б.Ф. Егоров, Ю.Н. Чумаков, А.М. Турков, которые несколько старше. Об этих литературоведах в высоких тонах высказался А.Л. Доброхотов: «...великое поколение “шестидесятников” до сих пор удивляет неиссякаемым творческим ресурсом и духовной насыщенностью» [60, с. 58].

Перечень имен ученых подобного типа было бы нетрудно увеличить. Этот пласт отечественного литературоведения (школы, не притязавшие на “научные революции”) очень во многом определили мир знаний о словесном искусстве.

Темы и проблемы работ ученых-вненаправленцев имели безгранично широкий диапазон, их установки весьма разнородны: каждый шел своим, особым путем. Но моменты общности в их деятельности все-таки имели место. Эти ученые были (воспользуемся словом, которым Мандельштам охарактеризовал себя как поэта) *смысловиками*, что отличало их от формалистов, а в значительной мере от структуралистов, особенно ранних. Литературоведы марксистской ориентации, заметим, тоже были своего рода смысловиками, но изучали они, как правило, лишь отражение в словесном искусстве *социальной* конкретики, содержательная же многоплановость произведений оставалась вне поля их зрения. “Вненаправленцев” же неизменно интересовала активность осмысления мира авторами, формально-содержательная *целостность* литературных фактов. При этом изучалась явленность в литературе самых разных пластов содержания: эпохальных, национальных, социально-бытовых, нравственных, философских, религиозных. Ученые, о которых идет речь, настойчиво соотносили произведения со всем тем, что было им запредельно: с современностью и прошлыми эпохами, с творчеством писателей других стран, с надэпохальными феноменами человеческого бытия. Это литературоведение не ограничивалось ни “литературностью”, ни семиотичностью, ни “социальными эквивалентами”. Оно было открыто *всему и вся* в составе истории человечества и его культуры.

Свои научно-методологические и мировоззренческие позиции литературоведы, о которых идет речь, на протяжении более полувека – с середины 1920-х до 1970–1980-х годов – по очевидным причинам не имели возможности выражать напрямую. “Иногда хочется, – писал А.П. Скафтымов

Ю.Г. Оксману в 1960 г., – всего себя (методологически) изложить во всей системе, со ссылками и параграфами, с предшественниками и без предшественников... А к чему это? К чему это, когда методология всем молодым работникам заранее во всей готовности задана к обязательному вниманию и выполнению?” [61, с. 302–303].

Литературоведы-вненаправленцы, что заметно отличало их от формалистов, структуралистов и марксистов, были предельно внимательны к специфически-гуманитарному аспекту знаний о литературных произведениях. Так, А.А. Смирнов, А.П. Скафтымов и В.М. Жирмунский в 1920-е годы настойчиво говорили о *телеологичности* (целенаправленности) художественных творений, об их смысловой устремленности. Произведение, считали эти ученые, может и должно быть понято и осмыслено на основе собственного читательского и мирозерцательного опыта. Говоря о насущности постижения произведений в их целостности, Скафтымов утверждал следующее: “Исследователю произведение доступно *только в его личном эстетическом опыте*. В этом смысле, конечно, его восприятие субъективно. Но субъективизм не есть произвол. Для того, чтобы *понять*, нужно уметь отдать себя чужой точке зрения. Нужно честно читать” (курсив наш. – О.Н., В.Х.) [1, с. 29]. О значимости художественных вкусов и читательских интуиций ученого для его успешной работы в ту же пору говорил А.А. Смирнов: исследовательскую работу литературоведов нужно ориентировать на “научно-интуитивную характеристику поэтических явлений; ученым подобает быть и критиками, которые ориентируют свои усилия на то, чтоб сделать ее *насколько возможно* (курсив автора) отвечающей действительному содержанию фактов”. Смирнов уточнил свою мысль в примечании к этому высказыванию: “Такой взгляд, конечно, и ограничивает науку о поэзии... Но все с неизбежностью вытекает из природы поэтического предмета” [62, с. 105–106].

Суждения подобной направленности получили развитие в статье М.М. Бахтина первой половины 1940-х годов “К философским основам гуманитарных наук”: предмет этих наук – “*выразительное и говорящее бытие*” (курсив автора), тогда как науки о природе имеют дело не с личностью, а с вещью. Вероятно, опираясь на В. Дильтея (хотя его и не называл), ученый говорил о межличностном понимании как о “*ведении смысла*” (курсив автора) (см.: [63, с. 9]). Статья эта, заметим, дождалась публикации лишь в 1980-е годы под названиями “К методологии литературоведения” и “К методологии гуманитарных наук”.

В 70-е годы появились очень значимые и неоднократно переиздававшиеся позже энциклопедические статьи С.С. Аверинцева “Филология” и “Символ”, в которых шла речь о специфике не только филологии, но и гуманитарных наук как таковых. Строгость филологии “состоит не в искусственной точности математизированного мыслительного аппарата, но в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающим произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания”. Ученый говорил также о присутствии в гуманитарной сфере *иного* компонента [64, с. 456, 389].

В том же русле высказались А.В. Михайлов и С.Г. Бочаров. Наука о литературе как часть науки о культуре, утверждал Михайлов, являет собой “*мышление истории*” как таковой. Говорится также, что несостоятельны “попытки превратить” литературоведение “в науку, работающую точными методами”. Такая наука была бы “*иной*” и “не имела бы ни малейших шансов упразднить ту науку о литературе, какая уже имеет свою традицию” и основана на донаучном “знании о литературе”. Ученым следует владеть “герменевтическим пространством” и сосредоточиться на самоосмыслении литературоведения, основу которого составляет “*поле дометодологического*” (курсив автора) [65, с. 485, 492–493, 484, 482]. Бочаров тоже выразил недоверие к опытам создания “чистой” науки о литературе по образцу наук естественных и математических, которые предпринимали формалисты и структуралисты. Миросозерцательно-эстетический опыт филолога, считает он, является единственно надежным фундаментом научных штудий. Бочаровские суждения на этот счет, мы полагаем, порой обретают излишне резкую тональность, но по существу справедливы: «Научное изучение... неизбежно становится изучением “по частям”, так что художественное целое остается в стороне» [66, с. 229]. И еще, по адресу формализма: “Поиск литературности в литературе вел к чему-то вроде ее стерилизации” [59, с. 627]. Бочаров настойчиво говорит о полноте прав ученого на предположения и гипотезы, главное же – настаивает на активном присутствии личностного отношения к предмету изучения. Вот две программные формулы ученого. Первая: “Филологическое дело – занятие личное, как писательство” [59, с. 629]. Вторая: “Литературоведение – это тоже литература” [66, с. 12].

В приведенных высказываниях Бахтина и Аверинцева, Михайлова и Бочарова литературоведение предстает как *междисциплинарная* область знания, неизменно вбирающая в себя специфически гуманитарный, *иного* научный компонент.

Если в составе научных школ, о которых говорилось выше, имела место и даже преобладала деперсонализация художественной литературы, то “вненаправленцам” свойственно пристальное внимание к личности писателей и героев их произведений. Здесь налицо персоналистская ориентация мысли.

Пласт литературоведения, о котором идет речь, обладал и обладает определенными преимуществами перед тем, что делалось в русле ведущих научных школ 1910–1970-х годов. Это – прежде всего пристальное внимание ученых к формально-содержательной целостности произведения, которое явлено в работах А.П. Скафтымова, Д.Е. Максимова, В.Н. Топорова, В.Э. Вацура, А.П. Чудакова.

Но и здесь, в трудах литературоведов, не принадлежавших какой-либо из школ, порой имели место, так сказать, зоны риска. Возникла опасность выхода за рамки научной объективности в сторону эссеистского субъективизма, экзистенциально-личностного либо философического. Это давало о себе знать даже в деятельности ученых первого ряда. Вспомним замечательно яркую, но далеко не во всем убедительную работу А.Л. Бема о “Шинели” Гоголя или блистательные статьи-эссе С.С. Аверинцева, вошедшие в его книгу “Поэты”, или же бахтинскую концепцию равноправия идей – голосов автора и его героев у Достоевского, отнюдь не бесспорную, о чем ныне говорят все настойчивее. Так, по словам С.Г. Бочарова, перед читателем бахтинской книги неминуемо встает вопрос о том, чего больше в ней: “художника Достоевского или мыслителя Бахтина?” [59, с. 468]. В подобных случаях мы имеем дело скорее с опытами индивидуального *прочтения* художественного произведения, нежели с актами собственно научного рассмотрения.

Вместе с тем во “вненаправленном” литературоведении полной жизнью живет и традиция научно-академической строгости. В этой связи еще раз назовем А.П. Скафтымова с его статьями о русских писателях (о Достоевском – в особенности), а также В.Э. Вацура, который скромно назвал один из сборников своих статей “Заметки комментатора”. Вошедшая в эту книгу статья “Поэтический манифест Пушкина” о стихотворении “С Гомером долго ты беседовал один...” нам представляется событием в пушкинистике, которое, к сожалению, осталось мало замеченным.

Вненаправленное литературоведение XX века с присущим ему *иного* научным компонентом так или иначе наследовало традицию немецкой герменевтики (Ф. Шлейермахер; В. Дильтей,

в XX веке – Г.-Г. Гадамер), а также опыт разграничения наук о природе и о духе, предпринятый на рубеже XIX–XX столетий Г. Риккертом и В. Виндельбантом. Значимы и переклички “вненаправленцев” с французскими персоналистами 1930–1940-х годов, лидером которых был Э. Мунье, а продолжателем стал П. Рикёр. Мы не отваживаемся обсуждать чрезвычайно сложную проблему соотношения между сознанием экзистенциальным (см.: [67]) и персоналистским. Отметим лишь, что мироотношение русских литературоведов, действовавших “вне школ и систем”, было сродно персонализму, но не в “ницшеанской” его ветви (см.: [68]), а в русле нравственно ориентированной философии жизни, разработанной ранним Бахтиным и рядом других мыслителей (см.: [69]).

Собственно мировоззренческий фундамент трудов русских “вненаправленцев” XX века, чаще всего явленный косвенно и опосредованно, нуждается в специальном рассмотрении. Взгляды ученых, их культурно-философские ориентации были очень разными и с течением времени менялись. Так, М.М. Бахтин от нравственно ориентированной философии жизни, а в какой-то мере и от концепции диалога как межличностного общения перешел в книге о Рабле к смысловым мотивам ницшеанского толка: карнавал предстал как подобие дионисийских экстазов, которые были в свое время подняты на щит в трактате Ф. Ницше “Рождение трагедии из духа музыки”. Л.Я. Гинзбург, опиравшаяся на этические установки революционеров-народовольцев, колебалась между атеизмом и агностицизмом. Но большинству “вненаправленцев” какие-либо радикализм и утопизм оставались чужды.

Глубоко значимым было интеллектуальное и духовное воздействие на ученых, о которых идет речь, русской религиозной философии начала XX века. “Новое религиозное сознание” Бердяева – Мережковского, отмеченное утопизмом, их не привлекало. Родственно-близкой оказывалась традиционалистская (“неомодернистская”) ветвь философии Серебряного века. Так, М.М. Бахтин в своих ранних работах заинтересованно и одобрительно говорил о Н.О. Лосском, назвав его книгу о Бергсоне “превосходной”; отмечал у Лосского ценные суждения о возможностях переживания “чужой душевной жизни” [70, с. 137]. В первой главе обоих изданий бахтинской книги о Достоевском пространно обсуждались работы С.А. Аскольдова, весьма далекого и от ницшеанства и от *нового* религиозного сознания. Шла речь о них и в заметках 1961 г. [70, с. 356, 360, 369]. А беседа с В.Д. Дувакиным, Бахтин тепло

и даже восторженно говорил о полемизировавшем в свое время с Бердяевым А.А. Мейере, с которым в конце 1920-х годов был хорошо знаком [71, с. 89–90]. Тот же Мейер оказал немалое влияние на Д.С. Лихачева, общавшегося с ним в пору соловецкой ссылки. Дружеские узы связывали Лихачева и с Аскольдовым. Д.Е. Максимов говорил о благом воздействии на него русских мыслителей дореволюционной поры. Философы начала века (труды С.Л. Франка, вероятно, в первую очередь) вызвали пристальный и напряженный интерес А.П. Скафтымова⁴.

В деятельности ученых, пребывавших вне школ, вчистую отсутствовали какие-либо жесткие догматы, табу, запреты, “единоспасающие” идеи. Лишенные внешней свободы, они оставались свободными внутренне: в выборе тем исследований, в направленности и принципах их разработки. Это было литературоведение принципиально *недогматическое*. Содержание работ не предопределялось какими-либо постулатами, кроме одного-единственного: признания права ученых опираться как на общенаучные принципы, так и на специфические черты гуманитарного знания. Говоря проще, их методология являла собой неуклонную верность элементарным вещам: неустанному поиску истины и – простому здравому смыслу. Главное же, русское вненаправленческое литературоведение не “подыгрывало” царившей в XX веке розни и вражде, но, напротив, служило (к сожалению, не очень заметно) великому делу *взаимопонимания* ученых, стимулировало заинтересованное и уважительное внимание людей науки друг к другу, а также к дореволюционному литературоведению и культурным традициям в их многоплановости и богатстве.

6.

Сопоставление ведущих научных школ с “оклонаправленческим” и “вненаправленческим” литературоведением побуждает к раздумьям об общей атмосфере существования нашей филологии истекшего столетия. Если в предреволюционные десятилетия в научной среде наличествовало мирное сотрудничество и царило, по меткому высказыванию сербского лингвиста А. Белича о Потембне, “спокойствие научного духа” (*Wissenschaftliche Ruhe*) (цит по: [72, с. 484]), то в 1920-е годы обстановка резко

⁴ Подробнее о философских истоках трудов “вненаправленцев” см.: Хализев В.Е. Традиции религиозной философии рубежа XIX–XX веков в литературоведении советского периода // Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения. М., 2008.

изменилась под властным воздействием социальных катаклизмов. Возобладали агрессивность официальной идеологии и попрание живой гуманитарной мысли. Великое множество ученых оказалось обреченным на умолчания и компромиссы; воцарился едва ли не общий страх перед репрессиями (см. [73]).

Положение дела стало заметно, порой даже стремительно, меняться к лучшему в оттепельную и послеоттепельную пору. Литературоведам и иным гуманитариям, главное же, обществу как таковому становились известны факты научной жизни, долгое время остававшиеся малодоступными. Это и наследие формализма, и труды таких ученых, как Бахтин, ранний Жирмунский, Скафтымов. Получила возможность широкого выхода на публику деятельность Д.С. Лихачева, Л.Я. Гинзбург, Д.Е. Максимова, а также пришедших в науку в послевоенные годы В.Н. Топорова, С.Г. Бочарова, М.Л. Гаспарова, В.Э. Вацура, С.С. Аверинцева, А.В. Михайлова, А.П. Чудакова и других литературоведов первого ряда.

Известность и авторитет названных ученых определялись теперь не официальными инстанциями (ученые степени, избрание в академии, государственные премии, многотиражные публикации и т.п.), а возникали органически, совокупной мыслью и волей не только филологов, но и людей иных профессий. Показательны в этом смысле высокие репутации Аверинцева, Бахтина, Лотмана, Лихачева.

Но и в позднесоветскую пору наличествовали, так сказать, “культурные издержки”, пусть и менее опасные, нежели имевшие место в 1930–1950-е годы. Их следы ощутимы и ныне. Возникло и стало упрочиваться своего рода либерально-оппозиционное мифотворчество, или, лучше сказать, вспомнив библейскую заповедь “Не делай себе кумира” (Исх. 20:4), околonaучное *кумиротворчество*, своего рода жертвами которого, объектами едва ли не экстатического поклонения стали и формалисты, и структуралисты с его бесспорным лидером Лотманом, и такие ученые, как М.М. Бахтин (после появления его книги о Достоевском в 1963 г.) и С.С. Аверинцев (начиная с рубежа 1960–1970-х годов).

Канонизация сделанного формальной школой бытует поныне. Недавно прозвучали слова о том, что до формализма существовало лишь “преднаучное знание” [74, с. 211]. Читая такое, невольно вспоминаешь без конца повторявшиеся в советские времена слова о ненаучности домарксистской философии. Поток апологетической литературы о Бахтине был на протяжении двух-трех

десятилетий беспрецедентно бурным. Возникли термины “бахтинистика” и даже “бахтинология” (как именовалась коллективная монография 1995 г.). Само это слово как бы ставило науку о Бахтине в один ряд с такими понятиями, как биология, геология, онтология, гносеология. Легко понять С.Г. Бочарова, который больше кого-либо еще сделал для освоения наследия ученого, действуя в качестве исследователя и комментатора его работ, мемуариста, инициатора и организатора недавно завершенного шеститомного собрания сочинений Бахтина, но любил повторять: “Во всяком случае, я не бахтинист”. О “бахтинистике” Бочаров говорил как “об особой секте в науке” [66, с. 508]. Он утверждал, что при “массовом потреблении” текстов Бахтина, “ядро его мысли остается неприступным и довольно таинственным – *непотребляемым*” (курсив автора) [66, с. 516]. На протяжении последних десятилетий волей и усилиями его почитателей Бахтин поднимался на такую головокружительную высоту, которая мыслилась как недоступная решительно никому ни в России, ни в Западной Европе на протяжении ряда столетий. Одному из авторов этой статьи (дело было в начале 1990-х годов) довелось услышать от В.Н. Турбина: “Такие, как Бахтин, появляются в мир раз лет в пятьсот, не чаще”.

Подобные парадоксы-гиперболы имели (и имеют) место и в репутации С.С. Аверинцева, другого лидера нашего литературоведения. Еще раз обратимся к С.Г. Бочарову, утверждавшему, что аверинцевские лекции на истфаке МГУ (рубеж 1960–1970-х годов), имевшие огромный успех, привлекали публику не сутью того, что она узнавала: задевал за живое, волновал и обогащал сам услышанный язык, который “менял аудитории голову” [75, с. 271]. Сходные мысли о репутации Аверинцева (на протяжении десятилетий) в тональности иронической высказала Н. Трауберг: “Поклонялись, но не желали понять, что он говорит” [76, с. 115]. Культ Аверинцева как первого и единственного, всеспасающего лица бытует и ныне. О.А. Седакова пишет: “Без Аверинцева... мы продолжали бы надеяться на темные интуиции в позднеромантическом духе... мы продолжали бы идти в тупик прямого продолжения того эона, знаком конца которого был Аверинцев” [77, с. 125]. Здесь осталась неучтенной рационалистическая ветвь философии двадцатого столетия. Назовем Б. Рассела, Р. Карнапа, К. Поппера, а также недавно появившуюся коллективную монографию с предисловием В.А. Лекторского [78].

Из той же области – суждение Вяч. Вс. Иванова. Назвав Аристотеля, Буало, Ломоносова, он заявляет: “Не будет преувеличением сказать, что

к подобному перечню мы теперь прибавим и имя Романа Jakobсона" [79, с. 5]. А.Н. Веселовский, М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, стало быть, фигуры заведомо меньшего масштаба?

Говоря о подобного рода непомерных хвалах тем или иным научным школам и отдельным ученым, вспомним еще раз высказывание Ю.М. Лотмана о том, что структурализм претерпел два испытания: гонениями – и модой. Совершенно справедливы, на наш взгляд, слова А.А. Журавлевой: "...мода в интеллектуальной сфере – это зло..." [80].

В истоках мифологизации отдельных ученых и научных сообществ по законам моды, конечно же, важно разобраться. На этот счет мы выскажем соображения сугубо предварительные. Научные моды стали появляться у нас в послеоттепельные времена. Раньше для них почвы не было: в литературоведении открыто и прямо заявлял себя лишь официоз. Все запредельное ему было неявным, подспудным, "бесшумным". Но после XX съезда партии (1956) положение дел в гуманитарной сфере стало меняться: оппозиционные (в более поздней лексической традиции – либеральные) умонастроения получили возможность выходить на публику, пусть и не в полной мере. И довольно широкому слою интеллигенции, в особенности молодежи, стало казаться, что решительно всё отличавшееся от господствовавшей идеологии достойно безоговорочного одобрения: оно принималось "на ура" и вызывало к себе слепо-восторженное отношение. Именно отсюда – цепь "интеллектуальных мод", которые друг друга сменяли, но нередко бытовали и одновременно. Это была естественная и неотвратимая реакция общества на многолетнее засилье всяческой казенщины. Вторжение в мир науки кумиротворчества, подверженность моде явились, мы полагаем, следствием недостаточности личностного начала в научной и околонаучной среде. Возникновению и упрочению этой болезни в близкое нам время способствует сама непомерность количества книг, диссертаций, статей, неспешно повторяющих и варьирующих сказанное ранее. "Чудовищное массовое, поточное перепроизводство литературоведения в обществе налицо", – справедливо утверждает авторитетный ученый [59, с. 626].

Добавим к этому: наука ныне институционализировалась в большей мере, чем когда-либо ранее. И, вероятно, именно потому в немалой степени "оказенилась" на новый, не марксистско-ленинский лад. Сообщества филологов (в научных институтах и вузах, а также журналах разной

методологически-жанровой ориентации) стали весьма многочисленными, в результате чего граница между собственно учеными и их подобиями оказалась размытой, стертой. Тем самым в науку (не только о литературе) вторглось то, что правомерно назвать массовым интеллигентским сознанием, которое, как и любое другое массовое сознание, нуждается в *вожаке*, некоем абсолютном авторитете, предмете поклонения.

То, что названо нами литературоведческим кумиротворчеством и интеллектуальной модой, бытует в последние десятилетия и за пределами России. Эта тема нуждается в неторопливом обсуждении. Мы ограничимся высказыванием четырехжды побывавшего в США А.П. Чудакова (в беседе с одним из авторов данной статьи): "Приезжаю в первый раз – все говорят о Лотмане, ничего другого слышать не хотят". Далее: во второй раз – о Бахтине, в третий – о Барте, в четвертый – о гендере. И слова "ничего другого слышать не хотят" Чудаков повторил четырехжды. Нечто, заметим, вроде калейдоскопа научных ориентаций во всем этом просматривается.

"Болевых точек" в литературоведении XX века предостаточно, но это не отменяет масштабности и широчайшего диапазона достижений отечественной науки о литературе: и ведущих школ, и того феномена, который мы назвали внешненаправленным литературоведением. "Направленчество" и "вненаправленчество" не полярны, но взаимно дополняют друг друга, хотя нередко конфликтуют между собой. Как мы постарались показать, такая специфика взаимодействия этих двух ветвей отечественной науки продиктована гносеологическими основаниями каждой из них и во многом вытекает из методологических, а отчасти и мировоззренческих предпосылок исследователей, ориентированных на один из выше-названных подходов. Конечно, многие замечания, высказанные в нашей статье, носят по необходимости предварительный характер. Хочется надеяться, однако, что предложенный в ней подход окажется продуктивным и позволит выявить в многообразии литературоведческих концепций XX века некоторые основополагающие закономерности развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.

2. Эйхенбаум Б.М. Теория “формального метода” (1926) // Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987.
3. Переверзев В.Ф. Гоголь, Достоевский. Исследования. М., 1982.
4. Переверзев В.Ф. Необходимые предпосылки марксистского литературоведения // Литературоведение / под ред. В.Ф. Переверзева. М., 1928.
5. Роднянская И.Б. Круглый стол “Актуальные проблемы теории литературы” в ИМЛИ // Контекст-2003. М., 2003.
6. Козлов С.Л. Осень филологии // Новое литературное обозрение. 2011. № 110.
7. Якобсон Р.О. Футуризм // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987.
8. Шкловский В.Б. “Евгений Онегин” (Пушкин и Стерн) // Очерки по поэтике Пушкина. Берлин, 1923.
9. Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983.
10. Шкловский В.Б. Литература и кинематограф. Берлин, 1923.
11. Переписка Б.М. Эйхенбаума и В.М. Жирмунского. Публикация Н.А. Жирмунской и О.В. Эйхенбаум // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988.
12. Переверзев В.Ф. Творчество Гоголя. 2-е издание. Иваново-Вознесенск, 1926.
13. Поспелов Г.Н. К постановке проблемы жизни и смерти поэтических фактов // Красная новь. 1926. № 1.
14. Гаспаров Б.М. Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
15. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011.
16. Из переписки Д.Е. Максимова с Ю. Лотманом и З.Г. Минц // Звезда. 2004. № 12.
17. Лотман Ю.М. Литературоведение должно быть наукой // Вопросы литературы. 1976. № 1.
18. Бем А.Л. Осуждение Фауста (Этюд к теме “Масарик и русская литература”) // Бем А.Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001.
19. Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом. М., 1989.
20. Малиновский Б.К. Научная теория культуры (1941). М., 1999.
21. Якобсон Р.О. Новейшая русская поэзия. набросок первый: подступы к Хлебникову (1921) // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1997.
22. Эйхенбаум Б.М. О прозе. Сборник статей. Л., 1969.
23. Лифшиц М.А. Что такое литература? М., 2004.
24. Лотман Ю.М. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языкознания. 1963. № 3.
25. Гаспаров М.Л. Взгляд из угла // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
26. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
27. Меерсон О. Персонализм как поэтика. Литературный мир глазами его обитателей. СПб., 2009.
28. Живов В.М. Московско-тартуская семиотика: ее достижения и ее ограничения // Новое литературное обозрение. 2009. № 98.
29. История русской литературной критики советской и постсоветской эпохи. М., 2012.
30. Пятигорский А.М. Заметки из 90-х о семиотике 60-х годов // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
31. Левченко Я.С. Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии. М., 2012.
32. Лотман М.Ю. За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая) // Лотмановский сборник 1. М., 1995.
33. Лотман Ю.М. Культура как субъект и сама-себе объект // Wiener Slawistischer Almanach. 1989. Bd. 23.
34. Замятин Е.И. О литературе, революции, энтропии и о прочем // Замятин Е.И. Я боюсь. М., 1999.
35. Лоренц К. Так называемое зло. М., 2006.
36. Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. М., 1992.
37. Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. М., 1977.
38. Вяземский П.А. Старая записная книжка. Л., 1929.
39. Шкловский В.Б. Гамбургский счет. М., 1990.
40. Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания, размышления, встречи. М., 1964.
41. Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. М., 1999.
42. Лотман Ю.М. Зимние заметки о летних школах // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
43. Таратута Е.А. Учитель // Литературное обозрение. 1988. № 7.
44. Варламов А.Н. Андрей Платонов. М., 2011.
45. Беседа о формальном методе 10 декабря 1922 // Белоус Вл. Вольфила I. М., 2005.
46. Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским // Вопросы литературы. 1984. № 12.
47. Эйхенбаум Б.М. О литературе. М., 1987.

48. Седьмые тыняновские чтения. Материалы для обсуждения. М., 1994.
49. Филология в лицах. Дьердь Лукач // Вопросы литературы. 2009. Январь–февраль.
50. Раков В.П. О В.Ф. Переверзеве – по-новому // Контекст. Литературно-теоретические исследования. М., 1993.
51. Живая мысль. К 100-летию со дня рождения Г.Н. Пospelова. М., 1999.
52. Музиль Р. Человек без свойств. Роман. В двух книгах. Т. I. М., 1984.
53. Маркович В.М. Мифы и биографии. Из истории критики и литературоведения в России. СПб., 2007. С. 198–236.
54. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом механизме культуры // Ученые записки ТГУ. Труды по знаковым системам. V. Вып. 284. 1971.
55. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
56. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
57. Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
58. Лотман Ю.М. О русской литературе классического периода. Вводные замечания // Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). История русской прозы. Теория литературы. СПб., 1997.
59. Бочаров С.Г. Филологические сюжеты. М., 2007.
60. Доброхотов А.Л. Аверинцев как философ культуры // Аверинцевские чтения. М., 2008.
61. Александр Павлович Скафтымов в русской литературной науке и культуре. Саратов, 2010.
62. Смирнов А.А. Пути и задачи науки о литературе // Литературная мысль. Альманах. II. Пг., 1923.
63. Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 5. М., 1996.
64. Аверинцев С.С. Словарь // Аверинцев С.С. Собрание сочинений. Под ред. Н.П. Аверинцевой и К.Б. Сигова. Киев, 2006.
65. Михайлов А.В. Несколько тезисов о теории литературы // Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб., 2006.
66. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
67. Семенова С.Г. Два полюса русского экзистенциального сознания. Проза Георгия Иванова и Владимира Набокова-Сирина // Новый мир. 1999. № 9.
68. Штекелер-Вайтхофер П. Философия подлинной личности у Ницше // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М., 2007.
69. Хализев В.Е. Теория поступка М.М. Бахтина в контексте философии XX века // Литературоведение как литература. Сборник в честь С.Г. Бочарова. М., 2004.
70. Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 т. Т. I. М., 2003.
71. Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1973.
72. Овсянко-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы. В 2 т. Т. 2. М., 1989.
73. Хализев В.Е. Отечественное литературоведение в эпоху господства марксизма-ленинизма // Памяти Анны Ивановны Журавлевой. М., 2012.
74. Дмитриев А., Левченко Ян. Наука как прием: еще раз о методологическом наследии русского формализма // Новое литературное обозрение. № 50. 2004.
75. Бочаров С.Г. Аверинцев в нашей истории // Бочаров С.Г. Генетическая память литературы. М., 2012.
76. In memoriam Сергей Аверинцев. М., 2004.
77. Седакова О.А. Апология разума. М., 2009.
78. Рациональность на распутье. В 2 т. М., 1999.
79. Иванов Вяч. Вс. Поэтика Романа Якобсона // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987.
80. Журавлева А.А. Мода в интеллектуальной сфере – это зло... // www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Moda-v-intellektualnoj-sfere-eto-zlo.